

Понимаю, доктор Зелигман, возможно, сейчас не лучшее время для такого разговора, но я только что вспомнила, как однажды мне приснилось, что я — Гитлер. Мне до сих пор неловко об этом упоминать, но я действительно была им, стояла на балконе перед толпой фанатичных последователей и произносила речь. На мне была форма со смешными раздутыми штанами. Я чувствовала у себя на верхней губе крохотные усики, моя правая рука под звуки моего гипнотизирующего всех голоса взлетала вверх. О чем я говорила, точно не помню — вроде бы о чем-то связанном с Муссолини и с некоей абсурдной идеей насчет экспансии, но это и не важно. Да и вообще, что есть фашизм, как не идеология ради идеологии: он не несет в себе никакого идейного посыла, тем более что в конце концов итальянцы нас обскакали.

По городу через каждые сто метров — то “паста”, то “эспрессо”, и их мерзкий флаг на каждом углу. А вот “зауэркраут” нигде не встречала. Нам с нашей убогой кухней никогда не удалось бы удерживать империю тысячу лет — есть предел тому, что можно навязать людям, и любой сбежал бы после второй перемены называемого у нас блюдами. Это всегда было нашим слабым местом, мы никогда не создавали ничего, чем можно просто наслаждаться, без высшей цели, не случайно ведь в немецком нет слова для удовольствия, мы знаем лишь похоть и веселье. И не отсасываем мы ни у кого с истинным рвением — глотки наши недостаточно влажны, потому что выросли мы все на черстве хлеба. Знаете, этот кошмарный хлеб, который мы едим и о котором всем твердим, такой у нас вечный миф о самих себе. По-моему, это божья кара за все совершенные нами преступления, так что никогда ничего столь чувственного, как багет, или столь влажного, как черничные маффины, что подают здесь, в Лондоне, нипочем не могло бы появиться. Это одна из причин, по которым мне пришлось уехать: я не желала больше лгать со всеми вместе

о хлебе. Но так или иначе, когда я произносила то, что мы бы сейчас назвали ненавистнической речью, я чувствовала: доносящиеся снизу оргиастические овации — лишь жалкая компенсация за мое явное уродство. Да, я была хоть и не горбатая, но ни все мертвые евреи мира, ни даже мое якобы вегетарианство не делали меня достойной фото от Рифеншталь. Я чувствовала себя самозванцем. Неужели никто не заметил, что я похожа на старую картофелину с пластиковыми волосами? До сих пор помню, с какой тоской я проснулась в тот день — с тоской от того, что никогда мне не быть одним из юных немецких красавцев-блондинов с античным телом и кожей, изумительно золотящейся на солнце, никогда мне не стать такой, какой я должна была бы стать.

Не хочу сказать, что мне было жалко Гитлера, — совершенно недопустимо стирать с лица земли целую цивилизацию потому, что ты несчастлив в своем теле, и потому, что все это олицетворяет то, что ты в себе ненавидишь, но это заставило меня задуматься о его личной жизни. О будничном Гитлере. Доктор Зелигман, вы когда-нибудь

представляли себе, как Гитлер просыпается — в пижаме, с растрепанными волосами — и бредет по комнате в поисках шлепанцев? Какой-нибудь унылый тип наверняка написал книжку о Гитлере в быту, но я предпочитаю фантазировать сама, в книжках непременно найдут способ изобразить это скучно. Я представляю себе постельное белье в свастику, такую же пижаму, каждую мелочь вплоть до фарфоровой миски с его завтраком. В Польше, в одной из сомнительных антикварных лавочек, где поляки торговали исключительно памятными вещами своих угнетателей, я видела миски и тарелки с крохотными свастиками снизу на доньшке. Это напоминало какую-то извращенную Барби-вселенную: если накопишь достаточно денег, можно купить новую жизнь, блестящую, всю в одном стиле. Я могла вообразить даже телерекламу: кукла-Гитлер с напомаженными волосами, на холеном коне спасает добрую немецкую женщину из лап зловеще ухмыляющегося еврея и скачет в сторону заката — арийская раса под защитой и в безопасности. Рекламщики обычно такие ушлые, а тут упустили столь прекрасную мар-

кетинговую возможность: вы только представьте, сколько радости было бы немецким ребятишкам, будь у них “Лего” — концлагерь Фройденштадт*: сооруди сам печь, организуй депортацию и не забудь обустроить среду обитания. Можно было бы и набор для взрослых придумать: не только абажуры и перчатки из кожи, а еще и анальные пробки на конскую тему — из настоящих волос врага. Но, боюсь, этот корабль уже уплыл. И я вовсе не хочу вас обидеть, доктор Зелигман, особенно теперь, когда ваша голова у меня между ног, но не кажется ли вам, что в геноциде есть что-то сексуально-эксцентричное?

Я тут на днях возвращалась домой, и один человек бросился под поезд — видимо, хотел уйти, громко хлопнув дверью, так, чтобы попутчики запомнили его прощальный жест, его ответ нынешней нашей битве с отчаянием. Так что мне пришлось идти домой по тем районам Лондона, где живут люди предыдущих поколений — у которых настоящая мебель и сверкающие ванны, а детские

* *Freudenstadt* — город радости (нем.).

магазины такие заманчивые, что кажется, будто детство изобрели французы, и в палисадники к ним весна будто приходит раньше, чем ко всем прочим. Особенно мне нравятся магнолии с темными цветами — очень элегантные, почти пурпурные. Доктор Зелигман, вы их видели? И никому в голову не придет мусорить перед такими домами — они даже на неотесанные натуры действуют благотворно, а вот у меня в проулке вечно следы человеческой наглости, и утром, выглянув из-за занавески на улицу, я там вижу что угодно — от ржавых холодильников до старых косметичек и поломанных игрушек. Не понимаю, что во мне такого, отчего люди думают, что я порадуюсь их хламу, я даже чуть не опустилась до публичного заявления насчет того, как меня это унижает, чуть не повесила объявление с просьбой прекратить, что немногим хуже, чем просить еды или чистые трусы. Вы пробовали когда-нибудь заставить людей уважать ваше человеческое достоинство? Я не прошу ничего исключительного — ни благопристойного секса, ни подлинных чувств, — но хоть что-то приятное мне оставьте, однако,

похоже, меня заколдовала какая-то злобная фея, которая делает все, чтобы ни один принц не разглядел мое окно и чтобы сны мои воняли лисьей мочой и напоминали тот пластиковый мусор, что нам показывают в документальных фильмах о том, как мы убиваем Мать-природу. От них накатывает чувство вины и омерзения, и по ночам я пытаюсь засыпать, не представляя себе своего будущего. Поэтому-то я давно перестала заглядывать в те районы Лондона, которые мне не по карману, — побывав там, я вижу все свои провалы как сквозь увеличительное стекло и вспоминаю все то, за что родители меня никогда не простят. Ну почему я просто не раздвинула ноги в нужный момент, не заботилась лучше о своем теле, не вышла за одного из тех мужчин, у кого в саду магнолии с пурпурными цветами? Ведь могла бы быть одной из женщин, что сидят в роскошных кафе и ни о чем не тревожатся. Жила бы как в шоколадной лавке, доктор Зелигман. Наверное, поэтому богатые выглядят так, будто их только что трахнули сделанным на заказ страпоном, пока кто-то другой гладил для них в соседней комнате свежие

простыни. Поэтому и дети у них не такие уродливые — ведь они действительно родителям по карману и знают, что имеют право существовать. Так, должно быть, работает чувство превосходства. Как вы думаете, доктор Зелигман, не ошибка ли, что я вместо всего этого пришла к вам?

Впрочем, меня не пугает то, чем мы с вами собираемся заняться, доктор Зелигман. Меня не пугает ни смерть, ни что иное. Я знаю, что могу вам доверять, а смерть — она безмолвна. Нас убивают не громкие вещи — от них-то мы бьемся, вопим и рыдаем. Такие штуки — это когда мы ищем внимания. Они как кошки по весне, доктор Зелигман, ждут от нас сопротивления, хотят будить нас ночью и слушать мелодию наших проклятий, но ничего дурного в себе не несут. Смерть же — это то, что растет внутри нас, то, что в конце концов взорвется, выйдет из берегов и затопит все, что дышит. Язвы, что гноятся незамеченными, сердца, что разрываются без предупреждения. Вот это-то во всех фильмах и телешоу с насилием, смахивающим на порно, и неверно, доктор Зелигман: от такого люди редко погибают.